

18+

Искандер Арысов

Генеральный подрядчик иллюзий

Проект «Сингулярность
Арысова»



Искандер Арысов Генеральный подрядчик иллюзий. Проект «Сингулярность Арысова»

<https://litres.ru/74428242>

ISBN 9785007079846

Аннотация

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Это история о том, как в обществе, где реальность подменяется мифом, самый большой мифолог и становится «величайшим героем». Пургин — не антагонист системы, а её самое страшное порождение. Его смерть — не торжество справедливости, а ритуал очищения системы от уродливого отражения. История человека, который стал живым воплощением «потёмкинской деревни», показывая, как бюрократия, подозрительность и культ героизма создают идеальную питательную среду для мошенничества грандиозного масштаба.

Содержание

Книга первая: РОЖДЕНИЕ ПУРГИНА (Бегство из себя)	5
Глава первая. Сын уральской ночи	5
Глава вторая. Густой мороз, как кисель	10
Глава третья. Дмитровлаг, или Метаморфоза	15
Глава четвертая. Купе для двоих	20
Глава пятая: Свердловский трамплин	26
Глава шестая: Слова, сотканые из воздуха	32
Конец ознакомительного фрагмента.	36

**Генеральный
подрядчик иллюзий
Проект «Сингулярность
Арысова»**

Искандер Арысов

© Искандер Арысов, 2026

ISBN 978-5-0070-7984-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Книга первая: РОЖДЕНИЕ ПУРГИНА (Бегство из себя)

Глава первая. Сын уральской ночи

Серая мгла застыла над Алапаевском, словно пропитанная сажей вата. Городок спал, укутанный уральской ноябрьской ночью, такой долгой и густой, что казалось — рассвета не будет никогда. В одном из домов на окраине, в комнатке с отклеивающимися обоями, мальчик лет семи не спал.

Его звали Володя Бубенко, но в своих фантазиях он уже был Валентином — именем, вычитанным в потрёпанной книжке о римских императорах. Лежа на жесткой койке, он прислушивался к храпу отца, Петра, в соседней комнате. Петр Бубенко, слесарь пятого разряда, ударник труда и доброволец народной дружины, во сне бормотал лозунги. «Дашь пятилетку в четыре года!» — вырвалось у него особенно громко, и Володя вздрогнул, уткнувшись лицом в подушку, пахнущую мылом и тоской.

Днем Петр был Петром — ударником, активистом, примерным советским человеком. Вечером, пропахший машинным маслом и дешевым табаком, он превращался в отца — уставшего, молчаливого, вычерпывающего из миски щи с та-

кой сосредоточенностью, будто выполнял важнейшую государственную задачу. Мать, Анна, была тенью, тихой женщиной, чья жизнь состояла из очередей, стирки и страха. Страх опоздать, недодать, сказать лишнее. Они оба играли свои роли безупречно, как актеры в пьесе, которую никто не писал, но все знали наизусть.

А Володя не хотел играть. Вернее, хотел — но свою пьесу. Первый обман родился из цвета, вернее, из его отсутствия. В школе задали нарисовать «Нашу счастливую жизнь». Володя посмотрел на свой рисунок: серый дом, серое небо, коричневая фигура отца-ударника с красным, как единственная вспышка, флажком в руке. Рядом — кривая берёза, больше похожая на кляксу. Ему стало стыдно за эту убогую реальность, которую он изобразил так честно. Тогда он взял карандаш и на небе, поверх серого, нарисовал странное светило — не солнце и не луну, а нечто фиолетовое с золотыми лучами.

— Это что? — строго спросила учительница Марфа Семёновна, разглядывая рисунок на следующем дне.

— Полярное сияние, — не моргнув глазом, соврал Володя. — Я читал. Оно бывает на Севере. А Урал — почти Север. Оно символизирует сияние нашего светлого будущего.

Марфа Семёновна, женщина с лицом, как у закрытого сейфа, на миг растерялась. Идея была, с одной стороны, еретическая (какое еще сияние?), а с другой — идеологически выдержанная («светлое будущее»). Она покосилась на фио-

летовый круг. Он был красивым. Ярким. Таким, какого не было в её жизни.

— Фантазируешь, Бубенко, — сказала она, но поставила «четыре», а не «три». И не вырвала лист.

Это был его первый выигранный бой с серым миром. Цвет, рожденный из лжи, оказался сильнее правды. Володя почувствовал странную, щекочущую душу власть. Он понял: мир вокруг — это гигантский театр абсурда, где все говорят не то, что думают, и верят не в то, что видят. Отец с его лозунгами, Марфа Семёновна с её «светлым будущим», сосед-стахановец, который по ночам тайком гнал самогон из картошки — все они играли. Просто их роли были скучными, серыми, написанными кем-то другим.

А он хотел быть драматургом собственной жизни.

В десять лет он организовал «Тайное общество исследователей тайн Уральских гор». Членство стоило две конфеты-подушечки или один перочинный ножик. Он рассказывал доверчивым мальчишкам о спрятанных в старых шахтах сокровищах Разина, о призраке заводского инженера, который бродит по ночам с синим фонарем, искажая показания счетчиков у «передовиков». Он рисовал карты на обороте старых плакатов, его глаза горели такой искренней убежденностью, что конфеты текли рекой. Общество раскрылось, когда родители одного из «исследователей» обнаружили под матрасом запасы сахара, предназначенные для взятки духу шахты (по инструкции Володи). Володе влетело от отца, но, сидя в

чулане, он не плакал. Он смеялся. Они ведь поверили. Поверили в его выдумку больше, чем в лозунги на столбах.

К четырнадцати годам недовольство собой и миром в нем созрело, как нарыв. Он смотрел на себя в потрескавшееся зеркало в прихожей: обычное лицо, ни красоты, ни особого уродства. Лицо статистической единицы, винтика. Его отец был винтиком. Мать — тенью винтика. Он же чувствовал в себе потенциал целого, сложного, хитроумного механизма. Но мир требовал от него простоты. «Учись, трудись, будь честным». Честным в этом мире лживых спектаклей? Это было абсурдно.

Однажды зимним вечером, возвращаясь из школы, он стал свидетелем сцены у райкома. Пожилого человека, бухгалтера, публично клеймили за «потерю бдительности» — он неправильно начислил премию какому-то бригадиру. Бухгалтер, седой, с трясущимися руками, пытался что-то объяснить, бормотал о «недоразумении», о «документах». Его голос тонул в гневных, отрепетированных репликах активистов. Лица обвинителей были искажены искренним, почти праведным гневом. Володя замер, наблюдая. Это был чистейший театр. Трагедия? Фарс? Нет. Абсурд. Человеческая жизнь ломалась из-за арифметической ошибки, возведенной в ранг политического преступления. И все играли свои роли: и обвиняемый — роль жертвы, и обвинители — роль мстителей за справедливость.

Володя понял главное: сила в нарративе. Кто контроли-

рует историю, тот контролирует реальность. Бухгалтер проиграл, потому что его история была скучной — «ошибка в подсчетах». История активистов была мощнее — «борьба с вредительством». Правда не имела значения. Имело значение только то, во что заставят поверить.

Он шел домой, и в голове его, под вой уральской выюги, рождался новый образ. Уже не Володя Бубенко, сын слесаря, а кто-то другой. Человек с яркой, захватывающей историей. Человек, который не будет играть по чужим правилам, а напишет свои. Который раскрасит этот серый, абсурдный мир в цвета своих фантазий, заставит его поверить в полярные сияния посреди индустриальной тьмы.

Он еще не знал, что станет величайшим аферистом всех времен. Что его ждет Москва, триумфы, падения и пуля в затылок в подвале на Лубянке. Пока он был лишь мальчишкой в сером городке, сжимавшим в кармане кулаки, в которых был зажат несуществующий, но уже такой реальный для него, фиолетовый свет собственного, выдуманного солнца. А за окном, не умолкая, выла уральская ночь — темная, бесконечная и полная скрытых, не сыгранных еще ролей.

Глава вторая. Густой мороз, как кисель

Морозный воздух Урала был густым, как кисель, и пронизывающим, как укор совести. Ночь здесь наступала рано и властно, поглощая убогие деревянные домишки, покосившиеся заборы и единственную мощёную улицу, ведущую от вокзала к зданию райкома. В этой ночи, под аккомпанемент вой голодных собак и скрипа фонарных столбов, рос Владимир Бубенко. Не Валентин Пургин ещё — просто Володя, сын Петра Бубенко, счетовода лесопилки, и Анны, бывшей сельской учительницы, чей взгляд потух окончательно после третьего выкидыша.

Жизнь в городишке Н-ске была спектаклем, разыгрываемым по жёстко утверждённому свыше сценарию. Каждое утро жители надевали маски: начальник участка Смирнов — маску мудрого и требовательного хозяйственника (хотя он панически боялся приезда любой комиссии). Его заместитель, Козлов, — маску яростного борца за дисциплину (особенно усердствовал он после вчерашних посиделок с тем же Смирновым). Рабочие надевали маски сознательных пролетариев, копивших в душе чёрную злобу на нормы выработки. Даже бабки на лавочке у колодца играли роли «сознательных общественниц», осуждающих тунеядцев, пока их цепкие глаза не находили новую жертву для перемывания ко-

сточек.

Володя Бубенко рано понял главное: все здесь играют. Но играют плохо, нервно, с похабным надрывом провинциальных актёров. Истинная суть проглядывала сквозь дыры в гриме: страх, зависть, усталость, жадность. Система, которая сгоняла их на этот подмостки, была груба, как нестроганая доска, и недалёка, как агитплакат. Она требовала не сути, а формы. Не веры, а ритуала. И любой, кто сумеет сыграть свою роль безупречно, кто выучит текст лозунгов твёрже и вовремя скажет «товарищ», может стать режиссёром этого районного балагана.

Первый урок пришёл не из книг, а из жизни, в форме первого суда. Не над ним — над отцом.

Петра Бубенко обвинили в «халатности, повлёкшей за собой порчу социалистической собственности» — он якобы неправильно начислил зарплату бригаде грузчиков, из-за чего те, обиравшись, разбили ящик с гвоздями. Дело было сфабриковано от и до: сам начальник участка Смирнов дал Петру указание «сэкономить», а когда всплыла «недостача», мгновенно нашёл стрелочника. Суд был скорым, как удар топора. Народный заседатель, пекарь дядя Миша, заснул на втором часу заседания. Обвинитель цитировал сводки о трудовых подвигах и кознях врагов народа, сбиваясь и путая фамилии. Судья монотонно бубнил что-то о воспитательной роли правосудия. Сам Петр, бледный как мел, пытался что-то сказать о бумажке от Смирнова, но его голос тонул в ка-

зённом гулком пространстве.

Володя, семнадцатилетний, сидел на задней скамье и не спускал глаз с этого фарса. Он видел не трагедию отца — того ждал выговор и полгода исправительных работ. Он видел механизм. Грубый, как тиски. Предсказуемый, как падение гильотины. Но в этой предсказуемости была слабость. Механизм реагировал на кнопки: «вредительство», «сознательность», «политическая бдительность». Нажимаешь — получаешь результат. Весь вопрос в том, кто нажимает.

И тогда Володя совершил свой первый, ещё робкий афёрный трюк. Он не стал бороться с системой — он её перехитрил. Зная, что судья — большой любитель птиц (и коньяка, но это уже детали), Володя, превосходный рисовальщик, за ночь создал иллюстрированную брошюрку «Певчие птицы Урала: краткий определитель для трудящихся». На титульном листе красовалась гордая надпись: «В помощь культурному отдыху строителей социализма. Составил: пионер В. Бубенко».

На следующий день, «случайно» столкнувшись с судьёй на крыльце, он, заикаясь и краснея, вручил тот труд, как скромный вклад в дело народного просвещения. Ни слова об отце. Только о птицах и о глубоком уважении к советскому правосудию.

Через два дня приговор Петру Бубенко был вынесен, но ограничился строгим выговором. «Учитывая чистосердечное раскаяние и многолетний добросовестный труд» — зна-

чилось в решении. Смирнов, удивлённый, но не готовый лезть в петлю, отделался выговором за «слабый контроль». Система проглотила наживку, даже не поняв, что клюнула. Она была груба и недалёка. Она реагировала не на правду, а на правильный сигнал. На правильно поданную роль.

В ту ночь, глядя в потолок, Володя не чувствовал радости от спасения отца. Он чувствовал холодную, щекочущую душу эйфорию открытия. Весь мир — театр. Советская провинция — его самая абсурдная, самая гротескная сцена. Здесь можно не жить, а играть. И если ты талантливый актёр, ты можешь играть по своим правилам. Точнее, делая вид, что свято чтишь чужие.

Он встал, подошёл к зеркалу. В тусклом отблеске керосиновой лампы его лицо было похоже на маску. Он попробовал улыбнуться — получилась стандартная, восторженно-преданная улыбка активиста. Он нахмурил брови — и вот он уже суровый борец с пережитками прошлого. Он скорбно опустил уголки губ — и перед ним был честный труженик, обманутый коварными врагами.

«Сын уральской ночи, — прошептал он своему отражению. — Ты рождён во тьме, чтобы видеть, что другие не замечают при свете. Они строят свой мир на сцене. Значит, тот, кто управляет светом и репликами, и есть настоящий хозяин положения».

За окном по-прежнему стояла непроглядная уральская ночь. Но для Владимира Бубенко она вдруг перестала быть

символом глухоты и отчаяния. Она стала его союзником, его ширмой, его бескрайней, тёмной кулисой. Занавес только поднимался. А где-то в будущем, уже с новым именем на афише — Валентин Петрович Пургин — его ждал столичный спектакль, где ставки будут несравнимо выше, а абсурд — изысканнее и смертоноснее.

Но урок первого суда он запомнит навсегда: система любит громкие слова и красивые жесты. Дайте ей их — и она отдаст вам всё, что спрятано у себя в карманах. Главное — никогда не переставать играть. И никогда не верить в свой собственный спектакль.

Глава третья. Дмитровлаг, или Метаморфоза

Холод. Холод был первым, что ощутил Владимир Бубенко, сменивший пахнущий пылью и лампадным маслом московский следственный изолятор на бескрайнее ледяное пространство Дмитровлага. Не абстрактный «холод системы», а самый что ни на есть физический, пробирающий под телогрейку, выжимающий слезы из глаз и превращающий дыхание в колючее облако.

Его, «социально-вредный элемент», осуждённый по 58-й за «мошенничество в особо крупных размерах и подрыв доверия к органам», определили на строительство канала Москва-Волга. Место — гигантская, вырубленная в земле и скале рана, залитая серым ноябрьским светом. Люди в рваной одежде, похожие на потускневшие тени, копошились в грязи, таскали брёвна, вгрызались ломami в мёрзлую землю. Гул, лязг, окрики, редкий мат, больше похожий на стон.

Первые дни Владимир, существовал в состоянии животного оцепенения. Удары, голод, невыносимая усталость стирали личность, оставляя лишь базовый инстинкт выживания. Система казалась монолитной: конвоиры с винтовками, пронизывающий взгляд оперуполномоченного, бесконечные правила, чёткий, как удар киркой, распорядок. Она давила, пытаясь сплющить его в стандартную лагерную пыль, в вин-

тик, который сломается и будет выброшен.

Но Владимир Бубенко не был винтиком. Он был аферистом. А профессия афериста — это, прежде всего, умение видеть систему изнутри, находить в ней слабые места, трещины и играть на них.

Озарение пришло к нему не в бараке, не под нарами, а на самом «фронте работ». Он заметил, что норму по выемке грунта его бригаде всегда завышают, но никто не проверяет, откуда берутся отчётные цифры. Десятник, туповатый и вечно пьяный мужчина с лицом, изъеденным оспой, просто брал из воздуха красивую цифру и нёс её в контору. Контора, в свою очередь, рапортовала наверх о «стахановских темпах». Наверху радовались и требовали новых рекордов. Круг замыкался, порождая абсурдную, но прочную конструкцию из лжи.

«Вся система — фасад, — подумал тогда Владимир, отплеываясь от горькой слюны. — Величественный, грозный фасад. Но за ним — пустота, которую заполняет человеческая лень, страх и желание выслужиться. В ней полно дыр».

Это было его спасением. Его метаморфозой.

Он начал с малого. Подобрал на отвале поломанный карандаш и клочок обёрточной бумаги. По вечерам, притулившись к единственной лампочке, он не спал, а чертил. Не проекты, нет. Он чертил схемы. Схемы движения бригад, графики поставок скудного пайка, даже приблизительную схему лагерных построек. Он изучал не канал, а сам лагерь как

механизм.

Затем он нашёл свою первую «дыру». Ею оказался пожилой врач санчасти, Иван Семёнович, человек с потухшими глазами, который когда-то лечил людей, а теперь лишь констатировал болезни и отправлял умирать. Владимир Бубенко подошёл к нему не как зэк к начальнику, а как пациент к врачу. Не с жалобой, а с почтительным вопросом о лёгком недомогании. И между делом, с искренним, профессиональным интересом спросил: «Иван Семёнович, а вот если бы у вас были бы лишние бинты, ну, условно, вы бы их списали как испорченные? Или это слишком рискованно?»

Врач насторожился. Но в голосе Владимира не было доносительства. Был лишь холодный, аналитический интерес коллеги к уязвимости системы учёта. Через неделю Владимир получил свою первую «благодарность» — две картофелины и кусок мыла, «списанные» по акту. Мыло стало первой валютой.

Дальше — больше. Он увидел, что кладовщик на складе вещевого довольствия боится внезапных проверок, потому что вечно путается в бумагах. Бубенко, вызвавшись «помочь» убрать склад за пайку хлеба, за вечер навёл там идеальный порядок и заодно создал вторую, «чёрную» опись, которую и передал кладовщику «на всякий случай». Теперь у него была тёплая шапка и валенки.

Он понял, что оперуполномоченный Цибин, злой и подозрительный человек, на самом деле патологически боится,

что его обойдёт по карьерной лестнице молодой выдвиженец из соседнего лагпункта. И как-то раз, делая вид, что просто болтает, Владимир «проговорился» при Цибине о том, что слышал, будто тот выдвиженец хвастался связями в самом НКВД и собирается «навести порядок» в их зоне. Цибин занервничал. Его внимание переключилось с рядовых зэков на внутреннюю интригу. Контроль ослаб.

Метаморфоза была почти завершена. Владимир Бубенко, призрак, созданный в московских подвалах, начал оживать в аду Дмитровлага. Лагерь не сломал Владимира. Он его закалил, отполировал, как гальку в ледяном потоке. Он освободил его от последних иллюзий и моральных сомнений. Здесь, где главной ценностью была миска баланды, его талант — талант видеть слабость, страх и жадность в людях и играть на них — оказался самым востребованным.

Он жил теперь по своим правилам. Первое правило: система — это не стена, это сеть. В ней нужно не упираться, а находить ячейки и проскальзывать. Второе: каждый человек — инструмент или препятствие. Третье, и главное: самая прочная валюта — не хлеб и не мыло, а информация. Управляя ею, можно управлять всем.

К концу срока (его, «за примерное поведение и помощь в укреплении лагерного хозяйства», сократили на треть) он уже не был простым зэком. Он был теневым бухгалтером, советником, информационным брокером. Он знал, у кого что болит, и умел предлагать своё, особое, лекарство.

5 ноября 1940 года его выпустили. Он вышел за ворота, обернулся и взглянул на выщербленные бараки, на вышки, на чёрную полосу канала. Он не чувствовал ненависти. Он чувствовал благодарность. Величайший аферист всех времён прошёл свою главную школу. Фасад системы остался позади. Впереди была Москва — огромная, голодная, напуганная, идеальная сцена для последнего, самого грандиозного спектакля под названием «Жизнь».

Он поправил свою, «списанную» со склада, шапку, сунул руки в карманы телогрейки, где лежали несколько заработанных в лагере рублей и адрес одной полезной подружки, и зашагал по дороге к станции. Лёгкий снег начинал кружиться в воздухе, предвещая раннюю, суровую зиму. Бубенко улыбнулся. Он был свободен. И он знал, что настоящая свобода — не там, где нет правил, а там, где ты сам пишешь их для других.

Глава четвертая. Купе для двоих

Дымчатый рассвет за окном вагона сливался с угольной пылью, превращая мир в размытую акварель. Поезд Москва — Минск стучал на стыках рельсов размеренно, как метроном, отсчитывающий последние минуты жизни Владимира Бубенко.

Он сидел на верхней полке, прижав к груди потрепанный саквояж. В нем — всё: две застиранные сорочки, пачка «Казбека», томик Дюма-отца для вида, и главное — паспорт на имя Владимира Семеновича Бубенко, 1914 года рождения, слесаря 4-го разряда завода «Красный пролетарий». В кармане пиджака жались триста семьдесят рублей — сбережения за два года, выкроенные из скудного заработка и мелких, дрожащих афер на толкучках. Бегство. Бегство от себя, от долгов, от неминуемого разоблачения в истории с «золотыми» часами начальника цеха, которые оказались позолоченными. От матушки, писавшей в каждом письме: «Когда ж ты, Володенька, остепенишься?»

«Остепениться». Слово казалось ему приговором. Он был не слесарем, он был артистом, фокусником, но сцена его жизни была убога, а зрители — мелочны и подлы. Его гениальные планы тонули в трясине советской обыденности, как бриллиант в болоте. А теперь — еще и уголовная статья маячила.

С ним в купе ехал всего один попутчик — плотный, аккуратно одетый мужчина лет сорока. Он представился: «Петр Сергеевич». С первых минут Петр Сергеевич расположил к себе: достал дорогой коньяк, угостил колбасой, нарезанной ровными ломтиками. Говорил спокойно, авторитетно, о вещах, о которых Бубенко мог только мечтать: о ресторане «Арагви», о санаториях в Кисловодске, о тонкостях снабжения.

— Вы, Владимир Семенович, человек явно не на своем месте, — сказал Петр Сергеевич, разглядывая Бубенко через дымок папиросы. — В вас горит огонь. А вы им печку в бараке топчите.

Бубенко расправил плечи. Ему льстило. Он разоткровенничался. Не про часы, конечно, но про свою «непризнанность», про мечты о большой игре, где нужны ум, смелость, широта души.

— Страна строится, товарищ! — воскликнул он, хмелея от коньяка и собственного красноречия. — А таланты пропадают в нищете и безвестности!

Петр Сергеевич кивал, подливал. Его чемодан, дорогой, коричневый, с блестящими замками, стоял неприступной крепостью у стены.

Под стук колес Бубенко задремал. Сон был тяжелым, провальным. Ему снились чекисты в кожанках, мать, плачущая у станка, золотые часы, которые тикали, как бомба...

Он проснулся от толчка на стрелке. В купе был полумрак.

Петра Сергеевича не было. Чемодан его тоже исчез. Сердце Бубенко екнуло, рука инстинктивно потянулась к внутреннему карману пиджака. Карман был пуст.

Он вскочил, опрокинув бутылку. Ощупал все карманы, вытряхнул саквояж, заглянул под одеяло, под полку. Паспорта не было. Исчезли и деньги.

Мир рухнул. Без бумажки он — никто. Бомж. Беспаспортный бродяга. Первый же контроль наберется на него, как на щенка. А потом — этап, лагерь, тайга... Кража паспорта была страшнее кражи жизни. Она стирала тебя из реальности.

Он зарыдал, беззвучно, давясь слезами бессилия и ужаса. «Володя Бубенко» кончался здесь, в вонючем купе поезда, уносившего его в никуда. Он прижался лбом к холодному стеклу. За окном неслись черные силуэты деревьев, как верстовые столбы на пути в небытие.

И вдруг взгляд его упал на маленький сетчатый мешочек, забытый в углу полки, где лежал Петр Сергеевич. Бубенко рванул его к себе. Внутри был не коньяк и не закуска. Там лежал паспорт в твердой красной обложке и несколько официальных бланков с печатями.

Он дрожащими руками открыл паспорт. На пожелтевшей фотографии смотрел строгий, немолодой уже мужчина. Фамилия: Пургин. Имя и отчество: Валентин Петрович. Год рождения: 1905. Место рождения: г. Казань. Национальность: русский. Социальное положение: служащий. Прописка: Москва, ул. Горького...

Вложенная бумага была справкой из Наркомата внешней торговли, где Валентин Петрович Пургин значился «уполномоченным по особым поручениям», выезжающим в командировку в Белоруссию. Было еще одно письмо, личное, на парфюмерной бумаге, начинавшееся словами: «Дорогой Вала...»

Бубенко прочитал все. И снова. И еще раз. Мозг, отравленный страхом, вдруг заработал с бешеной скоростью, холодно и ясно. Петр Сергеевич был не вором. Он был добытчиком. Он украл «Володю Бубенко». Но зачем? Чтобы выбросить за окно? Или... чтобы освободить место?

Мысли неслись вихрем. «Уполномоченный по особым поручениям» — звучало важно, но туманно. Прописка в центре. Возраст — тридцать пять. Ни одного штампа о браке. Чистая, почти стерильная биография. Биография человека, которого, возможно, не стало. Или который очень хотел исчезнуть. И Петр Сергеевич помогал ему, забрав документы для передачи «куда следует», а этого Валентина Петровича, наверное, уже нет в живых, или он теперь кто-то другой... А может, это ловушка?

Но выбора не было. Совсем. Либо он — труп без имени, которого сгрузит на ближайшей станции транспортная милиция. Либо...

Он подошел к крошечному зеркальцу у раковины. Вгляделся. Усталое, испуганное лицо двадцатилетнего неудачника. «Володя». Последний раз он посмотрел в глаза

этому человеку. Потом выпрямился. Откинул плечи. Сдвинул брови. Попробовал сделать взгляд чуть свысока, чуть усталым, как у человека, обремененного важными заботами. Он проделал это десятки раз у станка, представляя себя то Д'Артаньяном, то Ротшильдом. Но сейчас это был не спектакль. Это была операция по пересадке души.

— Валентин Петрович, — хрипло сказал он вслух. Звук был чужим. — Пургин. Валентин Петрович Пургин.

Он повторил это как мантру. Сжег в пепельнице все свои старые бумажки, кроме фотографии матери, которую спрятал в потайной карман. Переделся в свою лучшую, все равно жалкую, рубашку. Пиджак висел мешком. «Нужен будет другой. С иголочки», — подумал «Пургин».

А потом случилось странное. Паника отступила, уступив место ледяной, почти экстатической ясности. Страх не исчез — он трансформировался. Он стал острым, как бритва, источником силы. Весь прежний опыт мелкого жульничества, весь талант имитации и убеждения, вся накопленная годами горечь и обида вдруг переплавились в единую, твердую субстанцию — уверенность. Неудачник Володя Бубенко умер, захлебнувшись собственным страхом. В дымной суете, под стук колес, родился новый человек. Он был чист. У него не было ни прошлого, ни долгов, ни унижений. У него было только будущее. И документы, открывающие двери в другую жизнь.

Когда поезд начал замедлять ход перед крупной станци-

ей, «Валентин Петрович Пургин» уже сидел у окна, собранный, с легкой полуулыбкой на лице. В кармане его пиджака лежал красный паспорт, а в голове — готовый ответ на любой вопрос. Он глядел на суету перрона, на бегущих людей с их маленькими, уютными судьбами, и чувствовал себя выше их. Он был пустотой, которую можно наполнить чем угодно. Он был глиной, которая решила стать богом.

Контролер, заглянувший в купе, получил ровную, спокойную улыбку и документы, поданные без тени волнения.

— Командировка? — бегло глянув на паспорт и справку, спросил контролер.

— Да, дела, — легко ответил Пургин. Голос звучал непривычно бархатисто и твердо. — Страна строится, товарищ. Некогда прохладиться.

Контролер кивнул, вернул документы. Дверь купе захлопнулась. Поезд тронулся.

Валентин Петрович Пургин достал «Казбек», прикурил, выпустил струю дыма в сизый рассвет. За окном проплывали поля, леса, деревни. Он смотрел на них, как хозяин, впервые вышедший осматривать свои безграничные, пока незнакомые владения. Впереди была Москва. И целая жизнь.

А в углу купе, под сиденьем, валялась смятая обертка от колбасы — единственная вещь, оставшаяся от Владимира Бубенко. Скоро ее выметет суровый проводник, даже не заметив.

Глава пятая: Свердловский трамплин

Снег над Свердловском был не московским — не мягким, ватным, а колючим, зернистым, словно перемолотая соль. Но Валентин Пургин, он же Владимир Бубенко, чувствовал, что дышит здесь полной грудью. Город, возведенный вокруг гигантских заводов, дышал энергией и возможностями. Здесь, вдали от столичных глаз, можно было не просто скрываться — можно было строить.

Идея поступить в Уральский коммунистический сельскохозяйственный институт имени Сталина родилась за бутылкой первача в общежитии заводских курсов повышения квалификации. Сосед по комнате, тощий паренек из деревни, мечтал о сельхозинституте, но боялся экзаменов.

— Да там, говорят, математика смертная, — вздыхал он.

— Математика? — Пургин поднял бокал. — Дорогой товарищ, математика — это язык вселенной. А мы с тобой — ее переводчики.

На следующий день Пургин уже стоял перед зданием института — монументальным, с колоннами, увенчанным красным флагом. Директор приемной комиссии, седой мужчина с усталыми глазами, посмотрел на его документы:

— Пургин Валентин Петрович... рекомендации от парткома завода «Уралмаш»... аттестат с отличием... — Он поднял взгляд. — Все в порядке. Но экзамены сдавать все равно

нужно.

— Товарищ директор, — Пургин наклонился вперед, понизив голос до конфиденциального шепота, — позвольте задать вопрос. Что важнее для будущего специалиста сельского хозяйства: решить интеграл или понять душу колхозника? Я прошел войну с бюрократизмом на заводе, организовал кружок по изучению передовых методов агрономии среди рабочих... Разве это не лучшая подготовка?

Директор задумался. Пургин уловил момент неуверенности — тот самый, когда система дает трещину.

— У нас есть квота для передовиков производства, — наконец сказал директор. — При наличии серьезных рекомендаций...

Рекомендации появились к вечеру. Бланки взяли в канцелярии, печати вырезал из пробки знакомый гравер с часового завода, подписи были поставлены уверенной рукой. К утру Пургин был не просто абитуриентом — он был «ударником, выдвинутым коллективом».

Экзамены стали формальностью. На математике он решил две простейшие задачи, но зато полчаса говорил о применении статистических методов в планировании посевных кампаний. На истории ВКП (б) не смог назвать год образования «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», но прочел импровизированную лекцию о роли партии в коллективизации, цитируя Сталина с таким чувством, будто лично слышал эти слова из уст вождя.

Через неделю его имя висело в списках поступивших.

Но институт оказался лишь перевалочным пунктом. На втором курсе в стенной газете «Агрономический фронт» появился его фельетон о бюрократах из районного сельхозуправления. Текст был наполнен такими ядовитыми метафорами, такими точными саркастическими замечаниями, что его заметили.

Его вызвали в редакцию городской газеты «Уральский рабочий».

— Пишете колко, — сказал седовласый редактор, Липовицкий, глядя на Пургина поверх очков. — Но много самостоятельности. Журналистика — это не только талант, но и школа. Учиться нужно.

— Учусь, — ответил Пургин. — У жизни. У людей на заводе, в поле, в конторах. Разве Маркс не учился у реальности, а не только в библиотеках?

Липовицкий усмехнулся:

— С такими аргументами можно далеко пойти. Или быстро сломать шею. Хотите попробовать себя в настоящей журналистике? Без гарантий.

Пургин хотел. Но для работы в газете требовался диплом. Не обязательно журналистский — любой высшее образование. А до диплома сельхозинститута оставалось три года.

Решение пришло из Москвы, в виде письма от «старого друга» — вернее, конверта с московским штампом, который Пургин сам отнес в редакцию.

— Получил вызов, — с деланной грустью сказал он Липовицкому. — Центральная газета «Социалистическое земледелие» предлагает перевестись в Москву, в Тимирязевскую академию. Жаль, уральскую школу покидать.

Липовицкий, сам когда-то мечтавший о столице, взглянул на молодого человека с новым интересом:

— Так вы талантливее, чем кажется. Но что же вы будете делать?

— А нельзя ли... — Пургин сделал паузу, — оформить меня как внештатного корреспондента? Я буду присылать материалы с мест. А диплом я получу. Уверен.

Липовицкий развел руками:

— Без документа о высшем образовании даже внештатным нельзя. Правила.

На следующий день Пургин принес правила, напечатанные на бланке «Народного комиссариата просвещения РСФСР», где среди исключений значился пункт: «Для лиц, проявивших выдающиеся способности в области публицистики, допускается зачет практической работы в качестве стажера...»

Подпись наркома была воспроизведена с гипнотической точностью.

— Откуда? — изумился Липовицкий.

— У меня есть знакомые в наркомате, — таинственно ответил Пургин.

Его оформили внештатным. Первые же его очерки о пере-

довиках сельского хозяйства выделялись не пафосом, а деталями — такими живыми, такими точными, будто он годами работал рядом с этими людьми. Он описывал запах нагретой солнцем земли, усталость в глазах тракториста после смены, гордость агронома, нашедшего способ борьбы с вредителем. Читатели писали письма в редакцию: «Как будто побывал там сам».

А Пургин в это время сидел в библиотеке, изучая сельскохозяйственные журналы, справочники, отчеты. Он научился извлекать из сухих строк цифр и фактов целые миры. Его память, его интуиция, его актерский дар делали остальное.

К концу года он был уже штатным сотрудником. Его документы лежали в отделе кадров: анкета, трудовая книжка, справки. Карточный домик, выстроенный с изяществом архитектора. Каждая бумага подтверждала предыдущую, создавая безупречную легенду.

Однажды вечером, отмечая в ресторане гостиницы «Большой Урал» выход очередного номера с его материалом на первой полосе, Пургин смотрел на свои отражение в зеркале за стойкой. Перед ним был не Владимир Бубенко, беглец из прошлого. И не Валентин Пургин, мифический герой войны. Перед ним был журналист, человек пера, уважаемый, замеченный. Система, которая должна была его отторгнуть, приняла его, обласкала, дала имя и место.

Он поднял бокал:

— За легкость бытия, товарищи! За то, что бумага все

стерпит!

Смеялись все, кроме него. Он смотрел на искрящееся вино в бокале и видел в нем отблеск будущего — ослепительного, головокружительного. Свердловск стал трамплином. Москва ждала. А там... там, как он уже понимал, можно будет все.

На столе рядом лежал свежий экземпляр газеты. Заголовок его статьи гласил: «Правда поля — в его бороздах». Ирония была слишком тонкой, чтобы ее заметить. Истина действительно была в бороздах — в тех искусственных углублениях, которые он проводил между фактами и вымыслом. И в этих бороздах уже давали всходы семена его будущей, невообразимой карьеры.

Картонный домик рос, становясь похожим на замок. И Пургин уже почти верил, что он из камня.

Глава шестая: Слова, сотканные из воздуха

Кабинет Пургина в редакции «Стальной правды» напоминал склеп для живых слов. На полках грудились подшивки газет, папки с материалами, сборники речей. Воздух был густ от запаха типографской краски, дешевого табака и человеческого тщеславия.

Валентин Петрович сидел за столом, изучая передовицы последних месяцев. Его пальцы, привыкшие к карточным фокусам и изящным жестам мошенника, теперь выводили на бумаге казенные фразы, заучивая их, как когда-то заучивал правила карточных игр.

«Героический труд... нестигаемая воля... исторические свершения...» — он повторял эти сочетания шепотом, чувствуя, как язык прилипает к небу. Эти слова были похожи на фальшивые банкноты — яркие, правильные на вид, но лишённые внутренней стоимости. И в этом он был экспертом.

Редактор Молчанов, сутулый мужчина с вечно воспалёнными глазами, однажды сказал ему: «Запомни, Пургин, наша эпоха говорит особым языком. Это язык будущего, которое уже наступило. Твоя задача — не описывать, а создавать реальность. Бумага терпит всё».

И Валентин Петрович создавал. Он писал о стахановце Николае Дубоносове, который за смену выкатывал из цеха

три нормы вагонов. Николай имел железные руки, ясный взгляд и преданное сердце, бывшее в унисон с гигантскими машинами страны. Читатели писали восхищенные письма, просили прислать портрет героя. В редакцию даже приходила девушка, желавшая познакомиться с этим образцом нового человека.

Николая Дубоносова не существовало.

Пургин выдумал его за два часа до сдачи материала, глядя на копошащихся внизу муравьев. Он наделил своего героя биографией, характером, даже родинкой на щеке. И мурашки пробежали по его спине, когда он осознал: он, выдуманный Пургин, создает выдуманного героя для выдумывающей себя страны.

Ирония ситуации усугублялась тем, что его статьи имели успех. Их перепечатавали, на них ссылались в докладах, о выдуманных им героях говорили на собраниях. Язык эпохи оказался удивительно податливым материалом — достаточно было соединить правильные слова в правильном порядке, и рождалась реальность, в которой верили больше, чем в ту, что можно было потрогать.

Как-то раз, работая над очерком о женщине-трактористке, перевыполнившей план на 450%, Пургин оторвался от бумаги и поймал свое отражение в оконном стекле. Бледное лицо, тщательно зачесанные волосы, пиджак, купленный на гонорар от статьи о трудовых подвигах, которых не было. Кто смотрел на него из темноты за окном? Владимир Бубенко,

сын одесского портного, мечтавший о Париже и легкой жизни? Или Валентин Петрович Пургин, восходящая звезда советской публицистики, певец трудовых свершений?

Он улыбнулся своему двойному отражению. Истина, понял он, не в том, что было или есть. Истина — в том, что будет напечатано. Реальность — это хорошо отредактированный текст. Страна строила светлое будущее, он строил светлых героев. Разница была лишь в масштабе.

К концу месяца Пургин уже не просто усваивал язык эпохи — он начал его совершенствовать. Он придумал термин «трудовая эстафета» для описания соревнования между цехами. Он первый назвал пятилетку «битвой за время». Его фразы подхватывали, они начинали жить собственной жизнью, отдельной от своего создателя.

На редакционном собрании, когда Молчанов хвалил его последний материал о строителях метро, Пургин поймал себя на мысли: а что, если все здесь — такие же выдумки? Молчанов со своей вечной озабоченностью планом, корректорша Анна Семеновна с её вечными жалобами на глаза, молодой поэт, пишущий оды станкам... Может, и они лишь удачно составленные комбинации нужных слов и жестов?

Эта мысль была одновременно пугающей и освобождающей. Если весь мир — текст, то лучший чтец и есть хозяин положения.

Вечером того дня Пургин засиделся в кабинете допоздна. За окном темнело, в городе зажигались огни — неяркие,

экономные, но тем не менее создававшие иллюзию жизни и движения. Он достал из стола чистый лист и начал писать — не статью, а что-то вроде дневника, странным гибридом канцелярского языка и своих истинных мыслей.

«Сегодня создал бригаду бетонщиков, выполнивших норму на 600%. Даже сам почти поверил в их существование. Интересно, есть ли где-нибудь формула, вычисляющая соотношение выдуманных и реальных героев в масштабах страны? Если сложить всех моих ударников, они могли бы построить город. Город из бумаги и воображения, где улицы носят имена несуществующих людей, а в каждом доме живут призраки трудовой славы».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.